

Реальность воображения

Сколько ни думаешь о Гоголе, сколько о нем ни читаешь, он остается непостижимой загадкой – становится ею все больше. Я годами пытался к нему приблизиться. Среди записей, предшествовавших началу работы над повестью «День в феврале», сейчас обнаружился листок еще 1965 года: «Давно занимает мысль: как мог писатель, по сравнению с Пушкиным необразованный, подняться до таких вершин? (На памяти слова Белинского о том, что Гоголю по сравнению с Пушкиным не хватало систематического лицейского образования, отсюда его беды, его неустойчивость)... Как вообще соотносятся: знания, культура – и глубина человеческого духа?»

Об этом же в повести толкуют обиженные однокашники Гоголя: «Я просто хочу понять, что он такое. В чем его фокус?.. Если бы я его совсем не знал! То-то и наглядно, что свой, однокорытник... По всем предметам шел ниже меня. Современные идеи? Какие у него идеи! Спроси, держал ли он в руках хоть одно новейшее сочинение?.. Я тебе по страницам готов показать кучу несообразностей в его знании жизни».

Позднейшие исследователи, например, С. А. Венгеров, постарались показать, что образован Гоголь был, в общем, не так уж плохо. Но тот же Венгеров задался вопросом, знал ли писатель жизнь русской провинции, где происходит действие «Ревизора» и «Мертвых душ»? И не без удивления обнаружил, что по-настоящему знать просто не мог, бывал там лишь проездом. Биография Гоголя к тому времени прослежена была подробно: восемь часов в подольском трактире, неделя в Курске, природо-рожные впечатления. И чиновники у него по темпераменту, по характерам скорей малороссийские, чем среднерусские. Годами пребывая за границей, писатель бомбардирует знакомых просьбами, требованиями: шлите мне повседневные наблюдения, подробности, детали, свидетельства реальной жизни – сам все больше ощущал удаленность от нее.

Все это уже общеизвестно. Непонятным остается одно: как из попутных мелочей, подслушанных или присланных словечек, житейского мусора под его пером возникала реальность, недоступная физиологическим очеркистам – более чем реальность?

Профессионал-медик с удивлением однажды спросил Гоголя: как он мог с такой проникновенной точностью описать сумасшествие, не побывав в скорбной обители сам? Это не так уж сложно, ответил тот, надо только вообразить.

Реальный мир литературы создается воображением. Давид Самойлов, которому я свою повесть читал вслух (у него было плохо с глазами), принял ее, в общем, благосклонно, снабдил потом рекомендательным предисловием для «Нового мира», но тогда, помнится, сказал мне: «Зачем ты описываешь Париж, город, в котором никогда не был?» Попав впервые в Париж, я сразу же подался на *place de la Bourse*, которая в повествовании была запол-

нена карнавальной толпой, углублялся в тесные улочки, по которым уходил от приятелей Гоголь. Как передать чувство, что я в самом деле их узнавал? «Впереди, в устье уличной расщелины, выглянуло из-под туч уже закатное, красное солнце, расплескалось по просторным окнам»... И оно вдруг выглянуло для меня именно там, уличная расщелина была в самом деле ориентирована на закатное солнце. Как будто уже видел. В самом деле.

Но что это, однако, такое: в самом деле? Почему в воображении возникает именно это, а не другое? Так ли уж оно произвольно? В каких неисследимых глубинах нашей души, затерянных воспоминаний, а может, и вовсе в иных, космических сферах, его истоки? Это не совсем то же, что рациональная фантазия, конструирующая свои изделия на пробу, для игры, заполняющая мир реальностями, которые теперь называются виртуальными: странствуй, разгадывай попутные загадки, побеждай страховидных чудищ, благо, несколько жизней даются в запас. Мистические триллеры на сюжеты «Вия» или «Страшной мести», с использованием компьютерных эффектов, имеют к Гоголю мало отношения. Фокус – не волшебство.

Году, помнится, в 1993 я встретил в «Известиях» неожиданное для меня суждение С. С. Аверинцева: он говорил о недопустимости воображения в религиозных вопросах. (Жаль, не сделал тогда сразу точной выписки). Время спустя мне представилась возможность спросить у Сергея Сергеевича, что он имел в виду. Не буду приводить здесь его ответ, он мне мало что объяснил. (Я не удержался от уточняющего вопроса, он полез в карман за аэрозолем, сказал, что ему трудно разговаривать, нездоров. Второй раз у меня с ним так было. Не хватило соображения помолчать, просто послушать). Но случай Гоголя заставляет подумать как раз о чем-то близком.

Религиозный, проповеднический порыв оказался у него несовместим с воображением. Во второй части «Мертвых душ» должен был, по его словам, «предстать как бы невольный весь русский человек, со всем разнообразием богатств и даров, доставшихся на его долю». Но идеал можно только сконструировать, придумать, а это совсем другое. Утрачена оказалась «волшебная способность творить мир из ничего» (Набоков). Вместе с воображением угас и смех, возвышавший над жизненным абсурдом. Испугал, смутил вдруг вопрос: есть ли в смехе идея положительная? (Церковь в старой Руси, как известно, преследовала скоморохов из соображений идейных: Христос не смеялся). Попытки стилизовать Гоголя под благостного, не понятого окружением святого от литературы, предлагая судить о писателе по проповедническим цитатам из «Выбранных мест», заставляют вспомнить Фому Фомича Опискина, в уста которого столь знакомые пассажи вложил другой наш гений.

Вместо уничтоженной рукописи Гоголь оставил нам драму последних лет своей жизни, героем которой сделал себя. Разным своим персонажам он раздавал себя по частицам. Исследователи находят его черты и в Чичикове, и в Хлестакове, и в несчастном Поприщине. Я подумал однажды, что человеку, переживавшему главные события жизни за письменным столом, с пером в руке, ближе всего мог казаться Акакий Акакиевич Башмачкин, который чувствовал себя по-настоящему живым, лишь выводя на бумаге буквы.

Шинель

Сорвана с плеч шинель. Глубже костей проник
Холод, уже нездешний. Нечем душу согреть,
Нечем ее прикрыть. Закручены снежной вьюгой,
Распались без оболочки, во мраке растворены
Строки или дома, дни, сложенные из букв,
Ровно, одна к другой, без единой ошибки,
Без заботы о смысле, только лишь с предвкушением
Завтрашних букв, из которых возникнет она – шинель.

Сорвана с плеч шинель. Выдернуты из петель,
По снегу разбросаны пуговицы. Без скрепок
Расползаются очертания. Смешаны круговертью,
Уходят с шипящим звуком в рябющую черноту
Буквы, дома без окон, дни, прожитые ли, нет ли,
Проглоченные неощутимо, словно с мухами щи...
Дух травяной жвачки, теплый нечаянный ветер
Из лошадиных ноздрей на миг коснулся щеки.

Сорвана с плеч шинель. Освободилась душа –
Больше непрожитых дней этот предельный миг –
Вырвалась, чтобы очнуться где-то уже не здесь,
Вспомнить себя, обрести заново или впервые,
Складываясь из букв под чьим-то властным пером,
Морщины, нелепое имя, подслеповатый взгляд,
И, воплотившись сполна, живет еще живущих,
Ночами являться, пугая, из призрачной пустоты.

Уж не меня ли вспомнил? – тронет за плечи, скалясь. –
Ищешь рассыпанный смысл, сочувствуешь свысока
Бедняге, себе не чета? Надеешься заговорить
Жизнь, незаметно утекшую за таким же столом
В пятнах чернил? Тоже с пером в руке? А на плечах
Что у тебя? Не шинель? Скидывай все равно
Впустишь в себя, как истину, тот же холод,
От которого не укрыться, не убежать.

Сорвана с плеч шинель. Что остается? Перья,
Пара носков да пуговиц, стопка бумажных листов,
Исписанных ли, пустых, тоска непрожитой жизни,
Жалость – к кому? не к себе ли? Надежда соединить
Буквы, дни или мух, проглоченных вместе со щами...
Дух травяной жвачки, ветер из влажных ноздрей
Коснется на миг щеки. Добавишь хотя бы немного
В мир своего тепла, чтоб до конца не застыл.